

Игрок

Автор:

Федор Достоевский

Игрок

Федор Михайлович Достоевский

Это – «Игрок».

Произведение жесткое до жестокости, нервное до неровности и искреннее – уже до душевной обнаженности.

Это – своеобразная «история обыкновенного безумия» по-достоевски.

История азарта, ставшего для человека уже не смыслом игры и даже не смыслом жизни, но – единственной, экзистенциальной сутью бытия.

Это – «Игрок».

И это – возможно, единственная «автобиографическая» книга Достоевского.

Глава I

Наконец, я возвратился из моей двухнедельной отлучки. Наши уже три дня, как были в Рулетенбурге. Я думал, что они и бог знает как ждут меня, однакож ошибся. Генерал смотрел чрезвычайно независимо, поговорил со мной свысока и отослал меня к сестре. Было ясно, что они где-нибудь перехватили денег. Мне показалось даже, что генералу несколько совестно глядеть на меня. Марья Филипповна была в чрезвычайных хлопотах и поговорила со мною слегка; деньги, однакож, приняла, сосчитала и выслушала весь мой рапорт. К обеду

ждали Мезенцова, французика и еще какого-то англичанина; как водится, деньги есть, так тотчас и званый обед; по-московски. Полина Александровна, увидев меня, спросила: что я так долго? и, не дождавшись ответа, ушла куда-то. Разумеется, она сделала это нарочно. Нам, однакож, надо объясниться. Много накопилось.

Мне отвели маленькую комнатку, в четвертом этаже отеля. Здесь известно, что я принадлежу к свите генерала. По всему видно, что они успели-таки дать себя знать. Генерала считают здесь все богатейшим русским вельможей. Еще до обеда он успел, между другими поручениями, дать мне два тысячефранковых билета разменять. Я разменял их в конторе отеля. Теперь на нас будут смотреть, как на миллионеров, по крайней мере целую неделю. Я хотел было взять Мишу и Надю и пойти с ними гулять; но с лестницы меня позвали к генералу; ему заблагорассудилось осведомиться, куда я их поведу? Этот человек решительно не может смотреть мне прямо в глаза; он бы и очень хотел, но я каждый раз отвечаю ему таким пристальным, то есть непочтительным взглядом, что он как будто конфузится. В весьма напыщенной речи, насаживая одну фразу на другую и, наконец, совсем запутавшись, он дал мне понять, чтоб я гулял с детьми где-нибудь, подальше от воксала, в парке. Наконец, он рассердился совсем и круто прибавил: «А то вы, пожалуй, их в воксал, на рулетку, поведете. Вы меня извините, – прибавил он, – но я знаю, вы еще довольно легкомысленны и способны, пожалуй, играть. Во всяком случае хоть я и не ментор ваш, да и роли такой на себя брать не желаю, но по крайней мере имею право пожелать, чтобы вы, так сказать, меня-то не скомпрометировали...»

– Да ведь у меня и денег нет, – отвечал я спокойно, – чтобы проигратъся, нужно их иметь.

– Вы их немедленно получите, – ответил генерал, покраснев немного, порылся у себя в бюро, справился в книжке, и оказалось, что за ним моих денег около ста двадцати рублей.

– Как же мы сосчитаемся, – заговорил он, – надо переводить на талеры. Да вот возьмите сто талеров, круглым счетом, – остальное, конечно, не пропадет.

Я молча взял деньги.

– Вы, пожалуйста, не обижайтесь моими словами, вы так обидчивы... Если я вам заметил, то я, так сказать, вас предостерег, и уж, конечно, имею на то некоторое право...

Возвращаясь пред обедом с детьми домой, я встретил целую кавалькаду. Наши ездили осматривать какие-то развалины. Две превосходные коляски, великолепные лошади! Mademoiselle Blanche в одной коляске с Марьей Филипповной и Полиной; французик, англичанин и наш генерал верхами. Прохожие останавливались и смотрели; эффект был произведен; только генералу несдобровать. Я рассчитал, что с четырьмя тысячами франков, которые я привез, да прибавив сюда то, что они, очевидно, успели перехватить, у них теперь есть семь или восемь тысяч франков; этого слишком мало для m-lle Blanche.

M-lle Blanche стоит тоже в нашем отеле, вместе с матерью; где-то тут же и наш французик. Лакеи называют его «m-r le comte», [1 - Господин граф (фр.).] мать m-lle Blanche называется «m-me la comtesse»; [2 - Госпожа графиня (фр.).] что ж, может быть, и в самом деле они comte et comtesse. [3 - Граф и графиня (фр.).]

Я так и знал, что m-r le comte меня не узнает, когда мы соединимся за обедом. Генерал, конечно, и не подумал бы нас знакомить или хоть меня ему отрекомендовать; а m-r le comte сам бывал в России и знает, как невелика птица – то, что они называют outchitel. Он, впрочем, меня очень хорошо знает. Но, признаться, я и к обеду-то явился непрошенным; кажется, генерал позабыл распорядиться, а то бы, наверно, послал меня обедать за table d'hot'ом. [4 - Табльдот, общий стол в ресторане (фр.).] Я явился сам, так что генерал посмотрел на меня с неудовольствием. Добрая Марья Филипповна тотчас же указала мне место; но встреча с мистером Астлеем меня выручила, и я поневоле оказался принадлежащим к их обществу.

Этого странного англичанина я встретил сначала в Пруссии, в вагоне, где мы сидели друг против друга, когда я догонял наших; потом я столкнулся с ним, въезжая во Францию, наконец, в Швейцарии; в течение этих двух недель два раза – и вот теперь я вдруг встретил его уже в Рулетенбурге. Я никогда в жизни не встречал человека более застенчивого; он застенчив до глупости и сам, конечно, знает об этом, потому что он вовсе не глуп. Впрочем, он очень милый и тихий. Я заставил его разговориться при первой встрече в Пруссии. Он объявил мне, что был нынешним летом на Норд-Капе и что весьма хотелось ему быть на Нижегородской ярмарке. Не знаю, как он познакомился с генералом; мне

кажется, что он беспредельно влюблен в Полину. Когда она вошла, он вспыхнул, как зарево. Он был очень рад, что за столом я сел с ним рядом, и, кажется, уже считает меня своим закадычным другом.

За столом французик тонировал необыкновенно; он со всеми небрежен и важен. А в Москве, я помню, пускал мыльные пузыри. Он ужасно много говорил о финансах и о русской политике. Генерал иногда осмеливался противоречить, но скромно, единственно настолько, чтоб не уронить окончательно своей важности.

Я был в странном настроении духа; разумеется, я еще до половины обеда успел задать себе мой обыкновенный и всегдашний вопрос: «Зачем я валандаюсь с этим генералом и давным-давно не отхожу от них?» Изредка я взглядывал на Полину Александровну; она совершенно не примечала меня. Кончилось тем, что я разозлился и решился грубить.

Началось тем, что я вдруг, ни с того ни с сего, громко и без спросу ввязался в чужой разговор. Мне, главное, хотелось поругаться с французиком. Я оборотился к генералу и вдруг совершенно громко и отчетливо и, кажется, перебив его, заметил, что нынешним летом русским почти совсем нельзя обедать в отелях за табльдотами. Генерал устремил на меня удивленный взгляд.

– Если вы человек, себя уважающий, – пустился я далее, – то непременно напроситесь на ругательства и должны выносить чрезвычайные щелчки. В Париже и на Рейне, даже в Швейцарии, за табльдотами так много полячишек и им сочувствующих французиков, что нет возможности вымолвить слова, если вы только русский.

Я проговорил это по-французски. Генерал смотрел на меня в недоумении, не зная, рассердиться ли ему, или только удивиться, что я так забылся.

– Значит, вас кто-нибудь и где-нибудь проучил, – сказал французик небрежно и презрительно.

– Я в Париже сначала поругался с одним поляком, – ответил я, – потом с одним французским офицером, который поляка поддерживал. А затем уж часть французов перешла на мою сторону, когда я им рассказал, как я хотел плюнуть в кофе монсиньора.

– Плюнуть? – спросил генерал с важным недоумением и даже осматриваясь. Французик оглядывал меня недоверчиво.

– Точно так-с, – отвечал я. – Так как я целых два дня был убежден, что придется, может быть, отправиться по нашему делу на минутку в Рим, то и пошел в канцелярию посольства святейшего отца в Париже, чтоб визировать паспорт. Там меня встретил аббатик, лет пятидесяти, сухой и с морозом в физиономии, и, выслушав меня вежливо, но чрезвычайно сухо, просил подождать. Я хоть и спешил, но, конечно, сел ждать, вынул «Opinion nationale» и стал читать страшнейшее ругательство против России. Между тем я слышал, как чрез соседнюю комнату кто-то прошел к монсеньору; я видел, как мой аббат раскланивался. Я обратился к нему с прежнею просьбою; он еще суше попросил меня опять подождать. Немного спустя вошел кто-то еще незнакомый, но за делом, – какой-то австриец; его выслушали и тотчас же проводили наверх. Тогда мне стало очень досадно; я встал, подошел к аббату и сказал ему решительно, что так как монсеньор принимает, то может кончить и со мной. Вдруг аббат отшатнулся от меня с необычайным удивлением. Ему просто непонятно стало, каким это образом смеет ничтожный русский равнять себя с гостями монсеньора? Самым нахальным тоном, как бы радуясь, что может меня оскорбить, обмерил он меня с ног до головы и вскричал: «Так неужели ж вы думаете, что монсеньор бросит для вас свой кофе?» Тогда и я закричал, но еще сильнее его: «Так знайте ж, что мне наплевать на кофе вашего монсеньора! Если вы сию же минуту не кончите с моим паспортом, то я пойду к нему самому».

«Как! в то время, когда у него сидит кардинал!» – закричал аббатик, с ужасом от меня отстраняясь, бросился к дверям и расставил крестом руки, показывая вид, что скорее умрет, чем меня пропустит.

Тогда я ответил ему, что я еретик и варвар, «que je suis heretique et barbare» и что мне все эти архиепископы, кардиналы, монсеньоры и проч. и проч. – все равно. Одним словом, я показал вид, что не отстану. Аббат поглядел на меня с бесконечною злобою, потом вырвал мой паспорт и унес его наверх. Через минуту он был уже визирован.

– Вот-с, не угодно ли посмотреть? – Я вынул паспорт и показал римскую визу.

– Вы это, однакоже... – начал было генерал.

– Вас спасло, что вы объявили себя варваром и еретиком, – заметил, усмехаясь, французик. – «Cela n’était pas si b?te».[5 - Это было не глупо (фр.).]

– Так неужели смотреть на наших русских? Они сидят здесь – пикнуть не смеют и готовы, пожалуй, отречься от того, что они русские. По крайней мере в Париже, в моем отеле со мною стали обращаться гораздо внимательнее, когда я всем рассказал о моей драке с аббатом. Толстый польский пан, самый враждебный ко мне человек за табльдотом, стушевался на второй план. Французы даже перенесли, когда я рассказал, что года два тому назад видел человека, в которого французский егерь в двенадцатом году выстрелил – единственно только для того, чтоб разрядить ружье. Этот человек был тогда еще десятилетним ребенком, и семейство его не успело выехать из Москвы.

– Этого быть не может, – вскипел французик, – французский солдат не станет стрелять в ребенка!

– Между тем это было, – отвечал я. – Это мне рассказал почтенный отставной капитан, и я сам видел шрам на его щеке от пули.

Француз начал говорить много и скоро. Генерал стал было его поддерживать, но я рекомендовал ему прочесть хоть, например, отрывки из «Записок» генерала Перовского, бывшего в двенадцатом году в плену у французов. Наконец, Марья Филипповна о чем-то заговорила, чтоб перебить разговор. Генерал был очень недоволен мною, потому что мы с французом уже почти начали кричать. Но мистеру Астлею мой спор с французом, кажется, очень понравился; вставая из-за стола, он предложил мне выпить с ним рюмку вина. Вечером, как и следовало, мне удалось с четверть часа поговорить с Полиной Александровной. Разговор наш состоялся на прогулке. Все пошли в парк к вокзалу. Полина села на скамейку против фонтана, а Наденьку пустила играть недалеко от себя с детьми. Я тоже отпустил к фонтану Мишу, и мы остались, наконец, одни.

Сначала начали, разумеется, о делах. Полина просто рассердилась, когда я передал ей всего только семьсот гульденов. Она была уверена, что я ей привезу из Парижа, под залог ее бриллиантов, по крайней мере две тысячи гульденов или даже более.

– Мне во что бы ни стало нужны деньги, – сказала она, – и их надо добыть; иначе я просто погибла.

Я стал расспрашивать о том, что случилось в мое отсутствие.

– Больше ничего, что получены из Петербурга два известия: сначала, что бабушке очень плохо, а через два дня, что, кажется, она уже умерла. Это известие от Тимофея Петровича, – прибавила Полина, – а он человек точный. Ждем последнего, окончательного известия.

– Итак, здесь все в ожидании? – спросил я.

– Конечно: все и всё; целые полгода на одно это только и надеялись.

– И вы надеетесь? – спросил я.

– Ведь я ей вовсе не родня, я только генералова падчерица. Но я знаю наверно, что она обо мне вспомнит в завещании.

– Мне кажется, вам очень много достанется, – сказал я утвердительно.

– Да, она меня любила; но почему вам это кажется?

– Скажите, – отвечал я вопросом, – наш маркиз, кажется, тоже посвящен во все семейные тайны?

– А вы сами к чему об этом интересуетесь? – спросила Полина, поглядев на меня сурово и сухо.

– Еще бы; если не ошибаюсь, генерал успел уже занять у него денег.

– Вы очень верно угадываете.

– Ну, так дал ли бы он денег, если бы не знал про бабуленьку? Заметили ли вы, за столом: он раза три, что-то говоря о бабушке, назвал ее бабуленькой: «la baboulinka». Какие короткие и какие дружественные отношения!

– Да, вы правы. Как только он узнает, что и мне что-нибудь по завещанию досталось, то тотчас же ко мне и посватается. Это, что ли, вам хотелось узнать?

- Еще только посватается? Я думал, что он давно сватается.

- Вы отлично хорошо знаете, что нет! - с сердцем сказала Полина. - Где вы встретили этого англичанина? - прибавила она после минутного молчания.

- Я так и знал, что вы о нем сейчас спросите.

Я рассказал ей о прежних моих встречах с мистером Астлеем по дороге.

- Он застенчив и влюбчив и уж, конечно, влюблен в вас?

- Да, он влюблен в меня, - отвечала Полина.

- И уж, конечно, он в десять раз богаче француза. Что, у француза действительно есть что-нибудь? Не подвержено это сомнению?

- Не подвержено. У него есть какой-то ch?teau.[6 - Замок (фр.).] Мне еще вчера генерал говорил об этом решительно. Ну что, довольно с вас?

- Я бы на вашем месте непременно вышла замуж за англичанина.

- Почему? - спросила Полина.

- Француз красивее, но он подлее; а англичанин, сверх того что честен, еще в десять раз богаче, - отрезал я.

- Да; но зато француз маркиз - и умнее, - ответила она наиспокойнейшим образом.

- Да верно ли? - продолжал я по-прежнему.

- Совершенно так.

Полине ужасно не нравились мои вопросы, и я видел, что ей хотелось разозлить меня тоном и дикостью своего ответа; я об этом ей тотчас же сказал:

– Что ж, меня действительно развлекает, как вы беситесь. Уж за одно то, что я позволяю вам делать такие вопросы и догадки, следует вам расплатиться.

– Я действительно считаю себя вправе делать вам всякие вопросы, – отвечал я спокойно, – именно потому, что готов как угодно за них расплатиться, и свою жизнь считаю теперь ни во что.

Полина захохотала:

– Вы мне в последний раз, на Шлангенберге, сказали, что готовы по первому моему слову броситься вниз головой, а там, кажется, до тысячи футов. Я когда-нибудь произнесу это слово единственно затем, чтоб посмотреть, как вы будете расплачиваться, и уж будьте уверены, что выдержу характер. Вы мне ненавистны, – именно тем, что я так много вам позволила, и еще ненавистнее тем, что так мне нужны. Но покамест вы мне нужны – мне надо вас беречь.

Она стала вставать. Она говорила с раздражением. В последнее время она всегда кончала со мною разговор со злобою и раздражением, с настоящею злобою.

– Позвольте вас спросить, что такое mademoiselle Blanche? – спросил я, не желая отпустить ее без объяснения.

– Вы сами знаете, что такое mademoiselle Blanche. Больше ничего с тех пор не прибавилось. Mademoiselle Blanche наверно будет генеральшей, – разумеется, если слух о кончине бабушки подтвердится, потому что и mademoiselle Blanche, и ее матушка, и троюродный cousin-маркиз, – все очень хорошо знают, что мы разорились.

– А генерал влюблен окончательно?

– Теперь не в этом дело. Слушайте и запомните: возьмите эти семьсот флоринов и ступайте играть, выиграйте мне на рулетке сколько можете больше; мне деньги во что бы ни стало теперь нужны.

Сказав это, она кликнула Наденьку и пошла к вокзалу, где и присоединилась ко всей нашей компании. Я же свернул на первую попавшуюся дорожку влево,

обдумывая и удивляясь. Меня точно в голову ударило после приказа идти на рулетку. Странное дело: мне было о чем раздуматься, а между тем я весь погрузился в анализ ощущений моих чувств к Полине. Право, мне было легче в эти две недели отсутствия, чем теперь, в день возвращения, хотя я, в дороге, и тосковал как сумасшедший, метался как угорелый и даже во сне поминутно видел ее пред собою. Раз (это было в Швейцарии), заснув в вагоне, я, кажется, заговорил вслух с Полиной, чем рассмешил всех сидевших со мной проезжих. И еще раз теперь я задал себе вопрос: люблю ли я ее? И еще раз не сумел на него ответить, то есть, лучше сказать, я опять, в сотый раз, ответил себе, что я ее ненавижу. Да, она была мне ненавистна. Бывали минуты (а именно, каждый раз при конце наших разговоров), что я отдал бы полжизни, чтоб задушить ее! Клянусь, если б возможно было медленно погрузить в ее грудь острый нож, то я, мне кажется, схватился бы за него с наслаждением. А между тем клянусь всем, что есть святого, если бы, на Шлангенберге, на модном пуанте, она действительно сказала мне: «бросьтесь вниз», то я бы тотчас же бросился, и даже с наслаждением. Я знал это. Так или эдак, но это должно было разрешиться. Все это она удивительно понимает, и мысль о том, что я вполне верно и отчетливо сознаю всю ее недоступность для меня, всю невозможность исполнения моих фантазий, – эта мысль, я уверен, доставляет ей чрезвычайное наслаждение; иначе могла ли бы она, осторожная и умная, быть со мною в таких короткостях и откровенностях? Мне кажется, она до сих пор смотрела на меня как та древняя императрица, которая стала раздеваться при своем невольнике, считая его не за человека. Да, она много раз считала меня не за человека...

Однакож у меня было ее поручение – выиграть на рулетке во что бы ни стало. Мне некогда было раздумывать: для чего и как скоро надо выиграть и какие новые соображения родились в этой вечно рассчитывающей голове? К тому же в эти две недели, очевидно, прибавилась бездна новых фактов, об которых я еще не имел понятия. Все это надо было угадать, во все проникнуть, и как можно скорее. Но покамест теперь некогда: надо было отправляться на рулетку.

Глава II

Признаюсь, мне это было неприятно; я хоть и решил, что буду играть, но вовсе не располагал начинать для других. Это даже сбивало меня несколько с толку, и в игорные залы я вошел с предосадным чувством. Мне там, с первого взгляда, все не понравилось. Терпеть я не могу этой лакейщины в фельетонах целого

света и преимущественно в наших русских газетах, где почти каждую весну наши фельетонисты рассказывают о двух вещах: во-первых, о необыкновенном великолепии и роскоши игорных зал в рулеточных городах на Рейне, а во-вторых, о горах золота, которые будто бы лежат на столах. Ведь не платят же им за это; это так просто рассказывается из бескорыстной угодливости.

Никакого великолепия нет в этих дрянных залах, а золота не только нет горами на столах, но и чуть-чуть-то едва ли бывает. Конечно, кой-когда в продолжение сезона появится вдруг какой-нибудь чужак, или англичанин, или азиат какой-нибудь, турок, как нынешним летом, и вдруг проиграет или выиграет очень много; остальные же все играют на мелкие гульденны, и, средним числом, на столе всегда лежит очень мало денег. Как только я вошел в игорную залу (в первый раз в жизни), я некоторое время еще не решался играть. К тому же теснила толпа. Но если б я был и один, то и тогда бы, я думаю, скорее ушел, а не начал играть. Признаюсь, у меня стучало сердце, и я был не хладнокровен; я наверное знал и давно уже решил, что из Рулетенбурга так не выведу; что-нибудь непременно произойдет в моей судьбе радикальное и окончательное. Так надо, и так будет. Как это ни смешно, что я так много жду для себя от рулетки, но мне кажется, еще смешнее рутинное мнение, всеми признанное, что глупо и нелепо ожидать чего-нибудь от игры. И почему игра хуже какого бы то ни было способа добывания денег, например хоть торговли? Оно правда, что выигрывает из сотни один. Но – какое мне до того дело?

Во всяком случае я определил сначала присмотреться и не начинать ничего серьезного в этот вечер. В этот вечер, если б что и случилось, то случилось бы нечаянно и слегка, – и я так и положил. К тому же надо было и самую игру изучить; потому что, несмотря на тысячи описаний рулетки, которые я читал всегда с такою жадностью, я решительно ничего не понимал в ее устройстве до тех пор, пока сам не увидел.

Во-первых, мне все показалось так грязно, – как-то нравственно скверно и грязно. Я отнюдь не говорю про эти жадные и беспокойные лица, которые десятками, даже сотнями, обступают игорные столы. Я решительно не вижу ничего грязного в желании выиграть поскорее и побольше; мне всегда казалась очень глупою мысль одного отъевшегося и обеспеченного моралиста, который на чье-то оправдание: что «ведь играют по маленькой», отвечал – тем хуже, потому что мелкая корысть. Точно: мелкая корысть и крупная корысть – не все равно. Это дело пропорционально. Что для Ротшильда мелко, то для меня очень богато, а насчет наживы и выигрыша, так люди и не на рулетке, а и везде только и делают, что друг у друга что-нибудь отбивают или выигрывают. Гадки ли вообще нажива и барыш – это другой вопрос. Но здесь я его не решаю. Так как я

и сам был в высшей степени одержан желанием выигрыша, то вся эта корысть и вся эта корыстная грязь, если хотите, была мне, при входе в залу, как-то сподручнее, родственнее. Самое милое дело, когда друг друга не церемонятся, а действуют открыто и нараспашку. Да и к чему самого себя обманывать? Самое пустое и нерасчетливое занятие! Особенно некрасиво, на первый взгляд, во всей этой рулеточной сволочи было то уважение к занятию, та серьезность и даже почтительность, с которыми все обступали столы. Вот почему здесь резко различено, какая игра называется *mauvais genre* [7 - Дурным тоном (фр.)] и какая позволительна порядочному человеку. Есть две игры, одна - джентльменская, а другая - плебейская, корыстная, игра всякой сволочи. Здесь это строго различено и - как это различие в сущности подло! Джентльмен, например, может поставить пять или десять луидоров, редко более, впрочем, может поставить и тысячу франков, если очень богат, но собственно для одной игры, для одной только забавы, собственно для того, чтобы посмотреть на процесс выигрыша или проигрыша; но отнюдь не должен интересоваться самым выигрышем. Выиграв, он может, например, вслух засмеяться, сделать кому-нибудь из окружающих свое замечание, даже может поставить еще раз, и еще раз удвоить, но единственно только из любопытства, для наблюдения над шансами, для вычислений, а не из плебейского желания выиграть. Одним словом, на все эти игорные столы, рулетки и *trente et quarante* [8 - Тридцать и сорок (фр.) - одна из форм азартной игры.] он должен смотреть не иначе как на забаву, устроенную единственно для его удовольствия. Корысти и ловушки, на которых основан и устроен банк, он должен даже и не подозревать. Очень и очень недурно было бы даже, если б ему, например, показалось, что и все эти остальные игроки, вся эта дрянь, дрожащая над гульденом, - совершенно такие же богачи и джентльмены, как и он сам, и играют единственно для одного только, развлечения и забавы. Это совершенное незнание действительности и невинный взгляд на людей были бы, конечно, чрезвычайно аристократичными. Я видел, как многие маменьки выдвигали вперед невинных и изящных, пятнадцати- и шестнадцатилетних мисс, своих дочек, и, давши им несколько золотых монет, учили их, как играть. Барышня выигрывала или проигрывала, непременно улыбалась и отходила очень довольная. Наш генерал солидно и важно подошел к столу; лакей бросился было подать ему стул, но он не заметил лакея; очень долго вынимал кошелек, очень долго вынимал из кошелька триста франков золотом, поставил их на черную и выиграл. Он не взял выигрыша и оставил его на столе. Вышла опять черная: он и на этот раз не взял, и когда в третий раз вышла красная, то потерял разом тысячу двести франков. Он отошел с улыбкою и выдержал характер. Я убежден, что кошки у него скребли на сердце, и, будь ставка вдвое или втрое больше, - он не выдержал бы характера и выказал бы волнение. Впрочем, при мне один француз выиграл, и потом

проиграл, тысяч до тридцати франков, весело и без всякого волнения. Настоящий джентльмен, если бы проиграл и все свое состояние, не должен волноваться. Деньги до того должны быть ниже джентльменства, что почти не стоит об них заботиться. Конечно, весьма аристократично совсем бы не замечать всю эту грязь всей этой сволочи и всей обстановки. Однакоже иногда не менее аристократичен и обратный прием, замечать, то есть присматриваться, даже рассматривать, например хоть в лорнет, всю эту сволочь; но не иначе, как принимая всю эту толпу и всю эту грязь за своего рода развлечение, как бы за представление, устроенное для джентльменской забавы. Можно самому тесниться в этой толпе, но смотреть кругом с совершенным убеждением, что собственно вы сами наблюдатель, и уж нисколько не принадлежите к ее составу. Впрочем, и очень пристально наблюдать опять-таки не следует, опять уже это будет не по-джентльменски, потому что это во всяком случае зрелище не стоит большого и слишком пристального наблюдения. Да и вообще мало зрелищ, достойных слишком пристального наблюдения для джентльмена. А между тем мне лично показалось, что все это и очень стоит весьма пристального наблюдения, особенно для того, кто пришел не для одного наблюдения, а сам искренно и добросовестно причисляет себя ко всей этой сволочи. Что же касается до моих сокровеннейших нравственных убеждений, то в настоящих рассуждениях моих им, конечно, нет места. Пусть уж это будет так; говорю для очистки совести. Но вот что я замечу: что во все последнее время мне как-то ужасно противно было прикидывать поступки и мысли мои к какой бы то ни было нравственной мерке. Другое управляло мною...

Сволочь действительно играет очень грязно. Я даже не прочь от мысли, что тут, у стола, происходит много самого обыкновенного воровства. Крупёрам, которые сидят по концам стола, смотрят за ставками и рассчитываются, ужасно много работы. Вот еще сволочь-то! это большею частью французы. Впрочем, я здесь наблюдаю и замечаю вовсе не для того, чтобы описывать рулетку; я приноравливаюсь для себя, чтобы знать, как себя вести на будущее время. Я заметил, например, что нет ничего обыкновеннее, когда из-за стола протягивается вдруг чья-нибудь рука и берет себе то, что вы выиграли. Начинается спор, нередко крик, и – прошу покорно доказать, сыскать свидетелей, что ставка ваша!

Сначала вся эта штука была для меня тарабарскою грамотою; я только догадывался и различал кое-как, что ставки бывают на числа, на чёт и нечет и на цвета. Из денег Полины Александровны я в этот вечер решился попытать сто гульденов. Мысль, что я приступаю к игре не для себя, как-то сбивала меня с толку. Ощущение было чрезвычайно неприятное, и мне захотелось поскорее

развязаться с ним. Мне все казалось, что, начиная для Полины, я подрываю собственное счастье. Неужели нельзя прикоснуться к игорному столу, чтобы тотчас же не заразиться суеверием? Я начал с того, что вынул пять фридрихсдоров, то есть пятьдесят гульденов, и поставил их на четку. Колесо обернулось и вышло тринадцать, – я проиграл. С каким-то болезненным ощущением, единственно, чтобы как-нибудь развязаться и уйти, я поставил еще пять фридрихсдоров на красную. Вышла красная. Я поставил все десять фридрихсдоров – вышла опять красная. Я поставил опять все зараз, вышла опять красная. Получив сорок фридрихсдоров, я поставил двадцать на двенадцать средних цифр, не зная, что из этого выйдет. Мне заплатили втрое. Таким образом, из десяти фридрихсдоров у меня появилось вдруг восемьдесят. Мне стало до того невыносимо от какого-то необыкновенного и странного ощущения, что я решился уйти. Мне показалось, что я вовсе бы не так играл, если б играл для себя. Я, однакож, поставил все восемьдесят фридрихсдоров еще раз на четку. На этот раз вышло четыре; мне отсыпали еще восемьдесят фридрихсдоров, и, захватив всю кучу в сто шестьдесят фридрихсдоров, я отправился отыскивать Полину Александровну.

Они все где-то гуляли в парке, и я успел увидаться с нею только за ужином. На этот раз француза не было, и генерал развернулся; между прочим, он почел нужным опять мне заметить, что он бы не желал меня видеть за игорным столом. По его мнению, его очень скомпрометирует, если я как-нибудь слишком проиграюсь; «но если б даже вы и выиграли очень много, то и тогда я буду тоже скомпрометирован, – прибавил он значительно. – Конечно, я не имею права располагать вашими поступками, но согласитесь сами...» Тут он, по обыкновению своему, не докончил. Я сухо ответил ему, что у меня очень мало денег и что, следовательно, я не могу слишком приметно проиграться, если б даже и стал играть. Придя к себе наверх, я успел передать Полине ее выигрыш и объявил ей, что в другой раз уже не буду играть для нее.

– Почему же? – спросила она тревожно.

– Потому что хочу играть для себя, – отвечал я, рассматривая ее с удивлением, – а это мешает.

– Так вы решительно продолжаете быть убеждены, что рулетка ваш единственный исход и спасение? – спросила она насмешливо. Я отвечал опять очень серьезно, что да; что же касается до моей уверенности непременно выиграть, то пускай это будет смешно, я согласен, «но чтоб оставили меня в

покое».

Полина Александровна настаивала, чтоб я непременно разделил с нею сегодняшний выигрыш пополам и отдавала мне восемьдесят фридрихсдоров, предлагая и впредь продолжать игру на этом условии. Я отказался от половины решительно и окончательно и объявил, что для других не могу играть не потому, чтоб не желал, а потому, что, наверное, проиграю.

– И, однакож, я сама, как ни глупо это, почти тоже надеюсь на одну рулетку, – сказала она, задумываясь. – А потому вы непременно должны продолжать игру, со мною вместе пополам, и – разумеется – будете. – Тут она ушла от меня, не слушая дальнейших моих возражений.

Глава III

И, однакож, вчера целый день она не говорила со мной об игре ни слова. Да и вообще она избегала со мной говорить вчера. Прежняя манера ее со мною не изменилась. Та же совершенная небрежность в обращении, при встречах, и даже что-то презрительное и ненавистное. Вообще она не желает скрывать своего ко мне отвращения; я это вижу. Несмотря на это, она не скрывает тоже от меня, что я ей для чего-то нужен и что она для чего-то меня бережет. Между нами установились какие-то странные отношения, во многом для меня непонятные, – взяв в соображение ее гордость и надменность со всеми. Она знает, например, что я люблю ее до безумия, допускает меня даже говорить о моей страсти – и уж, конечно, ничем она не выразила бы мне более своего презрения, как этим позволением говорить ей беспрепятственно и бесцензурно о моей любви. «Значит, дескать, до того считаю ни во что твои чувства, что мне решительно все равно, об чем бы ты ни говорил со мною и что бы ко мне ни чувствовал». Про свои собственные дела она разговаривала со мною много и прежде, но никогда не была вполне откровенна. Мало того, в пренебрежении ее ко мне были, например, вот какие утонченности: она знает, положим, что мне известно какое-нибудь обстоятельство ее жизни или что-нибудь о том, что сильно ее тревожит; она даже сама расскажет мне что-нибудь из ее обстоятельств, если надо употребить меня как-нибудь для своих целей, вроде раба или на побегушки; но расскажет всегда ровно столько, сколько надо знать человеку, употребляющемуся на побегушки, и – если мне еще не известна целая

связь событий, если она и сама видит, как я мучусь и тревожусь ее же мучениями и тревогами, то никогда не удостоит меня успокоить вполне своей дружеской откровенностью, хотя, употребляя меня нередко по поручениям не только хлопотливым, но даже опасным, она, по моему мнению, обязана быть со мной откровенною. Да и стоит ли заботиться о моих чувствах, о том, что я тоже тревожусь и, может быть, втрое больше забочусь и мучусь ее же заботами и неудачами, чем она сама!

Я недели за три еще знал об ее намерении играть на рулетке. Она меня даже предупредила, что я должен буду играть вместо нее, потому что ей самой играть неприлично. По тону ее слов я тогда же заметил, что у ней какая-то серьезная забота, а не просто желание выиграть деньги. Что ей деньги сами по себе! Тут есть цель, тут какие-то обстоятельства, которые я могу угадывать, но которых я до сих пор не знаю. Разумеется, то унижение и рабство, в которых она меня держит, могли бы мне дать (весьма часто дают) возможность грубо и прямо самому ее расспрашивать. Так как я для нее раб и слишком ничтожен в ее глазах, то нечего ей и обижаться грубым моим любопытством. Но дело в том, что она, позволяя мне делать вопросы, на них не отвечает. Иной раз и вовсе их не замечает. Вот как у нас!

Вчерашний день у нас много говорилось о телеграмме, пущенной еще четыре дня назад в Петербург, и на которую не было ответа. Генерал, видимо, волнуется и задумчив. Дело идет, конечно, о бабушке. Волнуется и француз. Вчера, например, после обеда они долго и серьезно разговаривали. Тон француза со всеми нами необыкновенно высокомерный и небрежный. Тут именно по пословице: посади за стол и ноги на стол. Он даже с Полиной небрежен до грубости; впрочем, с удовольствием участвует в общих прогулках в воксале или в кавалькадах и поездках за город. Мне известны давно кой-какие из обстоятельств, связавших француза с генералом: в России они затевали вместе завод; я не знаю, лопнул ли их проект, или все еще об нем у них говорится. Кроме того, мне случайно известна часть семейной тайны: француз действительно выручил прошлого года генерала и дал ему тридцать тысяч для пополнения недостающего в казенной сумме, при сдаче должности. И уж, разумеется, генерал у него в тисках; но теперь, собственно теперь, главную роль во всем этом играет все-таки m-lle Blanche, и я уверен, что и тут не ошибаюсь.

Кто такая m-lle Blanche? Здесь у нас говорят, что она знатная француженка, имеющая с собой свою мать и колоссальное состояние. Известно тоже, что она

какая-то родственница нашему маркизу, только очень дальняя, какая-то кузина или троюродная сестра. Говорят, что до моей поездки в Париж француз и m-lle Blanche сносились между собою как-то гораздо церемоннее, были как будто на более тонкой и деликатной ноге; теперь же знакомство их, дружба и родственность выглядывают как-то грубее, как-то короче. Может быть, наши дела кажутся им до того уж плохими, что они и не считают нужным слишком с нами церемониться и скрываться. Я еще третьего дня заметил, как мистер Астлей разглядывал m-lle Blanche и ее матушку. Мне показалось, что он их знает. Мне показалось даже, что и наш француз встречался прежде с мистером Астлеем. Впрочем, мистер Астлей до того застенчив, стыдлив и молчалив, что на него почти можно понадеяться, – из избы сора не вынесет. По крайней мере француз едва ему кланяется и почти не глядит на него; а стало быть, не боится. Это еще понятно; но почему m-lle Blanche тоже почти не глядит на него? Тем более что маркиз вчера проговорился: он вдруг сказал в общем разговоре, не помню по какому поводу, что мистер Астлей колоссально богат и что он про это знает: тут-то бы и глядеть m-lle Blanche на мистера Астлея! Вообще генерал находится в беспокойстве. Понятно, что может значить для него теперь телеграмма о смерти тетки!

Мне хоть и показалось наверное, что Полина избегает разговора со мною, как бы с целью, но я и сам принял на себя вид холодный и равнодушный: все думал, что она нет-нет, да и подойдет ко мне. Зато вчера и сегодня я обратил все мое внимание преимущественно на m-lle Blanche. Бедный генерал, он погиб окончательно! Влюбиться в пятьдесят пять лет, с такою силою страсти, – конечно, несчастье. Прибавьте к тому его вдовство, его детей, совершенно разоренное имение, долги и, наконец, женщину, в которую ему пришлось влюбиться. M-lle Blanche красива собою. Но, я не знаю, поймут ли меня, если я выражусь, что у ней одно из тех лиц, которых можно испугаться. По крайней мере я всегда боялся таких женщин. Ей, наверно, лет двадцать пять. Она рослая и широкоплечая, с крутыми плечами; шея и грудь у нее роскошны; цвет кожи смугло-желтый, цвет волос черный, как тушь, и волос ужасно много, достало бы на две куафюры. Глаза черные, белки глаз желтоватые, взгляд нахальный, зубы белейшие, губы всегда напомажены; от нее пахнет мускусом. Одевается она эффектно, богато, с шиком, но с большим вкусом. Ноги и руки удивительные. Голос ее – сиплый контральто. Она иногда расхохочется и при этом покажет все свои зубы, но обыкновенно смотрит молчаливо и нахально, – по крайней мере при Полине и при Марье Филипповне. (Странный слух: Марья Филипповна уезжает в Россию.) Мне кажется, m-lle Blanche безо всякого образования, может быть даже и не умна, но зато подозрительна и хитра. Мне кажется, ее жизнь была-таки не без приключений. Если уж говорить все, то может быть, что маркиз

вовсе ей не родственник, а мать совсем не мать. Но есть сведения, что в Берлине, где мы с ними съехались, она и мать ее имели несколько порядочных знакомств. Что касается до самого маркиза, то хоть я и до сих пор сомневаюсь, что он маркиз, но принадлежность его к порядочному обществу, как у нас, например, в Москве и кое-где и в Германии, кажется, не подвержена сомнению. Не знаю, что он такое во Франции? Говорят, у него есть шато. Я думал, что в эти две недели много воды уйдет, и, однакож, я все еще не знаю наверно, сказано ли у m-lle Blanche с генералом что-нибудь решительное? Вообще все зависит теперь от нашего состояния, то есть от того, много ли может генерал показать им денег. Если бы, например, пришло известие, что бабушка не умерла, то я уверен, m-lle Blanche тотчас бы исчезла. Удивительно и смешно мне самому, какой я, однакож, стал сплетник. О как мне все это противно! С каким наслаждением я бросил бы всех и все! Но разве я могу уехать от Полины, разве я могу не шпионить кругом нее? Шпионство, конечно, подло, но – какое мне до этого дело?

Любопытен мне тоже был вчера и сегодня мистер Астлей. Да, я убежден, что он влюблен в Полину! Любопытно и смешно, сколько иногда может выразить взгляд стыдливого и болезненно-целомудренного человека, тронутого любовью, и именно в то время, когда человек уж, конечно, рад бы скорее сквозь землю провалиться, чем что-нибудь высказать или выразить, словом или взглядом. Мистер Астлей весьма часто встречается с нами на прогулках. Он снимает шляпу и проходит мимо, умирая, разумеется, от желания к нам присоединиться. Если же его приглашают, то он тотчас отказывается. На местах отдыха, в воксале, на музыке или пред фонтаном, он уже непременно останавливается где-нибудь недалеко от нашей скамейки, и, где бы мы ни были, в парке ли, в лесу ли, или на Шлангенберге, – стоит только вскинуть глазами, посмотреть кругом и непременно где-нибудь, или на ближайшей тропинке, или из-за куста, покажется уголок мистера Астлея. Мне кажется, он ищет случая со мною говорить особенно. Сегодня утром мы встретились и перекинули два слова. Он говорит иной раз как-то чрезвычайно отрывисто. Еще не сказав «здравствуйте», он начал с того, что проговорил:

– А, mademoiselle Blanche... я много видел таких женщин, как mademoiselle Blanche!!

Он замолчал, знаменательно смотря на меня. Что он этим хотел сказать, не знаю, потому что на вопрос мой: что это значит? – он с хитрою улыбкою кивнул головою и прибавил: «уж это так». – Mademoiselle Pauline очень любит цветы?

– Не знаю, совсем не знаю, – отвечал я.

– Как! Вы и этого не знаете! – вскричал он с величайшим изумлением.

– Не знаю, совсем не заметил, – повторил я смеясь.

– Гм, это дает мне одну особую мысль. – Тут он кивнул головой и прошел далее. Он, впрочем, имел довольный вид. Говорим мы с ним на сквернейшем французском языке.

Глава IV

Сегодня был день смешной, безобразный, нелепый. Теперь одиннадцать часов ночи. Я сижу в своей каморке и припоминаю. Началось с того, что утром принужден-таки был идти на рулетку, чтоб играть для Полины Александровны. Я взял все ее сто шестьдесят фридрихсдоров, но под двумя условиями: первое – что я не хочу играть в половине, то есть если выиграю, то ничего не возьму себе, и второе, что вечером Полина разъяснит мне: для чего именно ей так нужно выиграть и сколько именно денег. Я все-таки никак не могу предположить, чтобы это было просто для денег. Тут, видимо, деньги необходимы, и как можно скорее, для какой-то особенной цели. Она обещалась разъяснить, и я отправился. В игорных залах толпа была ужасная. Как нахальны они и как все они жадны! Я протеснился к середине и стал возле самого крупёра; затем стал робко пробовать игру, ставя по две и по три монеты. Между тем я наблюдал и замечал; мне показалось, что собственно расчет довольно мало значит и вовсе не имеет той важности, которую ему придают многие игроки. Они сидят с разграфленными бумажками, замечают удары, считают, выводят шансы, рассчитывают, наконец ставят и – проигрывают точно так же, как и мы, простые смертные, играющие без расчета. Но зато я вывел одно заключение, которое, кажется, верно: действительно, в течение случайных шансов бывает хоть и не система, но как будто какой-то порядок, – что, конечно, очень странно. Например, бывает, что после двенадцати средних цифр наступают двенадцать последних; два раза, положим, удар ложится на эти двенадцать последних и переходит на двенадцать первых. Упав на двенадцать первых, переходит опять на двенадцать средних, ударяет сряду три, четыре раза по средним и опять переходит на двенадцать последних, где, опять после двух раз, переходит к

первым, на первых опять бьет один раз и опять переходит на три удара средних, и таким образом продолжается в течение полутора или двух часов. Один, три и два; один, три и два. Это очень забавно. Иной день или иное утро идет, например, так, что красная сменяется черною и обратно, почти без всякого порядка поминутно, так что больше двух-трех ударов сряду на красную или черную не ложится. На другой же день или на другой вечер бывает сряду одна красная, доходит, например, больше чем до двадцати двух раз сряду и так идет непременно в продолжение некоторого времени, например, в продолжение целого дня. Мне много в этом объяснил мистер Астлей, который целое утро простоял у игорных столов, но сам не поставил ни разу. Что же касается до меня, то я весь проигрался дотла и очень скоро. Я прямо сразу поставил на четку двадцать фридрихсдоров и выиграл, поставил опять и опять выиграл и таким образом еще раза два или три. Я думаю, у меня сошлось в руках около четырехсот фридрихсдоров в какие-нибудь пять минут. Тут бы мне и отойти, но во мне родилось какое-то странное ощущение, какой-то вызов судьбе, какое-то желание дать ей щелчок, выставить ей язык. Я поставил самую большую позволенную ставку, в четыре тысячи гульденов, и проиграл. Затем, разгорячившись, вынул все, что у меня оставалось, поставил на ту же ставку и проиграл опять, после чего отошел от стола, как оглушенный. Я даже не понимал, что это со мною было, и объявил о моем проигрыше Полине Александровне только пред самым обедом. До того времени я все шатался в парке.

За обедом я был опять в возбужденном состоянии, так же как и три дня тому назад. Француз и m-lle Blanche опять обедали с нами. Оказалось, что m-lle Blanche была утром в игорных залах и видела мои подвиги. В этот раз она заговорила со мною как-то внимательнее. Француз пошел прямее и просто спросил меня: – неужели я проиграл свои собственные деньги? Мне кажется, он подозревает Полину. Одним словом, тут что-то есть. Я тотчас же солгал и сказал, что свои.

Генерал был чрезвычайно удивлен: откуда я взял такие деньги? Я объяснил, что начал с десяти фридрихсдоров, что шесть или семь ударов сряду, на двое, довели меня до пяти или до шести тысяч гульденов и что потом я все спустил с двух ударов.

Все это, конечно, было вероятно. Объясняя это, я посмотрел на Полину, но ничего не мог разобрать в ее лице. Однакож она мне дала солгать и не поправила меня; из этого я заключил, что мне и надо было солгать и скрыть, что

я играл за нее. Во всяком случае, думал я про себя, она обязана мне объяснением и давеча обещала мне кое-что открыть.

Я думал, что генерал сделает мне какое-нибудь замечание, но он промолчал; зато я заметил в лице его волнение и беспокойство. Может быть, при крутых его обстоятельствах, ему просто тяжело было выслушать, что такая почтительная груда золота пришла и ушла в четверть часа у такого нерасчетливого дурака, как я.

Я подозреваю, что у него вчера вечером вышла с французом какая-то жаркая контра. Они долго и с жаром говорили о чем-то, запершись. Француз ушел как будто чем-то раздраженный, а сегодня рано утром опять приходил к генералу – и вероятно, чтоб продолжать вчерашний разговор.

Выслушав о моем проигрыше, француз едко и даже злобно заметил мне, что надо было быть благоразумнее. Не знаю, для чего он прибавил, что – хоть русских и много играет, но, по его мнению, русские даже и играть неспособны.

– А, по моему мнению, рулетка только и создана для русских, – сказал я, и, когда француз на мой отзыв презрительно усмехнулся, я заметил ему, что, уж конечно, правда на моей стороне, потому, что, говоря о русских, как об игроках, я гораздо более ругаю их, чем хвалю, и что мне, стало быть, можно верить.

– На чем же вы основываете ваше мнение? – спросил француз.

– На том, что в катехизис добродетелей и достоинств цивилизованного западного человека вошла исторически и чуть ли не в виде главного пункта способность приобретения капиталов. А русский не только неспособен приобретать капиталы, но даже и расточает их как-то зря и безобразно. Тем не менее нам, русским, деньги тоже нужны, – прибавил я, – а следовательно, мы очень рады и очень падки на такие способы, как, например, рулетки, где можно разбогатеть вдруг, в два часа, не трудясь. Это нас очень прельщает; а так как мы и играем зря, без труда, то и проигрываемся!

– Это отчасти справедливо, – заметил самодовольно француз.

– Нет это несправедливо, и вам стыдно так отзываться о своем отечестве, – строго и внушительно заметил генерал.

– Помилуйте, – отвечал я ему, – ведь, право, неизвестно еще, что гаже: русское ли безобразие, или немецкий способ накопления честным трудом?

– Какая безобразная мысль! – воскликнул генерал.

– Какая русская мысль! – воскликнул француз.

Я смеялся, мне ужасно хотелось их раззадорить.

– А я лучше захочу всю жизнь прокочевать в киргизской палатке, – вскричал я, – чем поклоняться немецкому идолу.

– Какому идолу? – вскричал генерал, уже начиная серьезно сердиться.

– Немецкому способу накопления богатств. Я здесь недолго, но, однакож, все-таки, что я здесь успел подметить и проверить, возмущает мою татарскую породу. Ей-богу, не хочу таких добродетелей! Я здесь успел уже вчера обойти верст на десять кругом. Ну, точь-в-точь то же самое, как в нравоучительных немецких книжечках с картинками: есть здесь везде у них в каждом доме свой фатер, [9 - Отец (нем. Vater).] ужасно добродетельный и необыкновенно честный. Уж такой честный, что подойти к нему страшно. Терпеть не могу честных людей, к которым подходить страшно. У каждого эдакого фатера есть семья, и по вечерам все они вслух поучительные книги читают. Над домиком шумят вязаи и каштаны. Закат солнца, на крыше аист, и все необыкновенно поэтическое и трогательное.

– Уж вы не сердитесь, генерал, позвольте мне рассказать потрогательнее. Я сам помню, как мой отец, покойник, тоже под липками, в палисаднике, по вечерам, вслух читал мне и матери подобные книжки... Я ведь сам могу судить об этом как следует. Ну, так всякая этакая здешняя семья в полнейшем рабстве и повиновении у фатера. Все работают как волы и все копят деньги, как жидаи. Положим, фатер скопил уже столько-то гульденов и рассчитывает на старшего сына, чтобы ему ремесло аль землишку передать; для этого дочери приданого не дают, и она остается в девках. Для этого же младшего сына продают в кабалу аль в солдаты и деньги приобщают к домашнему капиталу. Право, это здесь делается; я расспрашивал. Все это делается не иначе, как от честности, от усиленной честности, до того, что и младший проданный сын верует, что его не

иначе, как от честности продали, – а уж это идеал, когда сама жертва радуется, что ее на закляние ведут. Что же дальше? Дальше то, что и старшему тоже не легче: есть там у него такая Амальхен, с которой он сердцем соединился, – но жениться нельзя, потому что гульденов еще столько не накоплено. Также ждут благонравно и искренно и с улыбкой на закляние идут. У Амальхен уж щеки ввалились, сохнет. Наконец, лет чрез двадцать благосостояние умножилось; гульдены честно и добродетельно скоплены. Фатер благословляет сорокалетнего старшего и тридцатипятилетнюю Амальхен, с иссохшей грудью и красным носом... При этом плачет, мораль читает и умирает. Старший превращается сам в добродетельного фатера, и начинается опять та же история. Лет эдак чрез пятьдесят или чрез семьдесят, внук первого фатера действительно уже осуществляет значительный капитал и передает своему сыну, тот своему, тот своему и поколений чрез пять или шесть выходит сам барон Ротшильд, или Гоппе и Компания, или там черт знает кто. Ну-с, как же не величественное зрелище: столетний или двухсотлетний преемственный труд, терпение, ум, честность, характер, твердость, расчет, аист на крыше! Чего же вам еще, ведь уж выше этого нет ничего, и с этой точки они сами начинают весь мир судить и виновных, то есть чуть-чуть на них не похожих, тотчас же казнить. Ну-с, так вот в чем дело: я уж лучше хочу дебоширить по-русски или разживаться на рулетке. Не хочу я быть Гоппе и Компания чрез пять поколений. Мне деньги нужны для меня самого, а я не считаю всего себя чем-то необходимым и придаточным к капиталу. Я знаю, что я ужасно наврал, но пусть так оно и будет. Таковы мои убеждения.

– Не знаю, много ли правды в том, что вы говорили, – задумчиво заметил генерал, – но знаю наверное, что вы нестерпимо начинаете форсить, чуть лишь вам капельку позволят забыться...

По обыкновению своему, он не договорил. Если наш генерал начинал о чем-нибудь говорить, хотя капельку позначительнее обыкновенного обыденного разговора, то никогда не договаривал. Француз небрежно слушал, немного выпучив глаза. Он почти ничего не понял из того, что я говорил. Полина смотрела с каким-то высокомерным равнодушием. Казалось, она не только меня, но и ничего не слыхала из сказанного в этот раз за столом.

Она была в необыкновенной задумчивости, но тотчас по выходе из-за стола велела мне сопровождать себя на прогулку. Мы взяли детей и отправились в парк к фонтану.

Так как я был в особенно возбужденном состоянии, то и брякнул глупо и грубо вопрос: почему наш маркиз Де-Грие, французик, не только не сопровождает ее теперь, когда она выходит куда-нибудь, но даже и не говорит с нею по целым дням?

– Потому что он подлец, – странно ответила она мне. Я никогда еще не слышал от нее такого отзыва о Де-Грие и замолчал, побоявшись понять эту раздражительность.

– А заметили ли вы, что он сегодня не в ладах с генералом?

– Вам хочется знать, в чем дело, – сухо и раздражительно отвечала она. – Вы знаете, что генерал весь у него в закладе, все имение – его, и если бабушка не умрет, то француз немедленно войдет во владение всем, что у него в закладе.

– А, так это действительно правда, что все в закладе? Я слышал, но не знал, что решительно все.

– А то как же?

– И при этом прощай mademoiselle Blanche, – заметил я. – Не будет она тогда генеральшей! Знаете ли что: мне кажется, генерал так влюбился, что, пожалуй, застрелится, если mademoiselle Blanche его бросит. В его лета так влюбляться опасно.

– Мне самой кажется, что с ним что-нибудь будет, – задумчиво заметила Полина Александровна.

– И как это великолепно, – вскричал я, – грубее нельзя показать, что она согласилась выйти только за деньги. Тут даже приличий не соблюдалось, совсем без церемонии происходило. Чудо! А насчет бабушки, что комичнее и грязнее, как посылать телеграмму за телеграммою и спрашивать: умерла ли, умерла ли? А? как вам это нравится, Полина Александровна?

– Это все вздор, – сказала она с отвращением, перебивая меня. – Я, напротив того, удивляюсь, что вы в таком развеселом расположении духа. Чему вы рады? Неужели тому, что мои деньги проиграли?

– Зачем вы давали их мне проигрывать? Я вам сказал, что не могу играть для других, тем более для вас. Я послушаюсь, что бы вы мне ни приказали; но результат не от меня зависит. Я ведь предупредил, что ничего не выйдет. Скажите, вы очень убиты, что потеряли столько денег? Для чего вам столько?

– К чему эти вопросы?

– Но ведь вы сами обещали мне объяснить... Слушайте: я совершенно убежден, что когда начну играть для себя (а у меня есть двенадцать фридрихсдоров), то я выиграю. Тогда, сколько вам надо, берите у меня.

Она сделала презрительную мину.

– Вы не сердитесь на меня, – продолжал я, – за такое предложение. Я до того проникнут сознанием того, что я нуль пред вами, то есть в ваших глазах, что вам можно даже принять от меня и деньги. Подарком от меня вам нельзя обижаться. При том же я проиграл ваши.

Она быстро поглядела на меня и, заметив, что я говорю раздражительно и саркастически, опять перебила разговор.

– Вам нет ничего интересного в моих обстоятельствах. Если хотите знать, я просто должна. Деньги взяты мною взаймы, и я хотела бы их отдать. У меня была безумная и странная мысль, что я непременно выиграю здесь, на игорном столе. Почему была эта мысль у меня – не понимаю, но я в нее верила. Кто знает, может быть, потому и верила, что у меня никакого другого шанса при выборе не оставалось.

– Или потому, что уж слишком надо было выиграть. Это точь-в-точь, как утопающий, который хватается за соломинку. Согласитесь сами, что если б он не утонул, то он не считал бы соломинку за древесный сук.

Полина удивилась.

– Как же, – спросила она, – вы сами-то на то же самое надеетесь? Две недели назад вы сами мне говорили однажды, много и долго, о том, что вы вполне уверены в выигрыше здесь на рулетке, и убеждали меня, чтоб я не смотрела на вас, как на безумного; или вы тогда шутили? но я помню, вы говорили так серьезно, что никак нельзя было принять за шутку.

– Это правда, – отвечал я задумчиво, – я до сих пор уверен вполне, что выиграю. Я даже вам признаюсь, что вы меня теперь навели на вопрос: почему именно мой сегодняшний, бестолковый и безобразный проигрыш не оставил во мне никакого сомнения? Я все-таки вполне уверен, что чуть только я начну играть для себя, то выиграю непременно.

– Почему же вы так наверно убеждены?

– Если хотите, – не знаю. Я знаю только, что мне надо выиграть, что это тоже единственный мой исход. Ну, вот потому, может быть, мне и кажется, что я непременно должен выиграть.

– Стало быть, вам тоже слишком надо, если вы фанатически уверены?

– Бьюсь об заклад, что вы сомневаетесь, что я в состоянии ощущать серьезную надобность?

– Это мне все равно, – тихо и равнодушно ответила Полина. – Если хотите – да, я сомневаюсь, чтоб вас мучило что-нибудь серьезно. Вы можете мучиться, но не серьезно. Вы человек беспорядочный и неустановившийся. Для чего вам деньги? Во всех резонах, которые вы мне тогда представили, я ничего не нашла серьезного.

– Кстати, – перебил я, – вы говорили, что вам долг нужно отдать. Хорош, значит, долг! Не французу ли?

– Что за вопросы? Вы сегодня особенно резки. Уж не пьяны ли?

– Вы знаете, что я все себе позволяю говорить и спрашиваю иногда очень откровенно. Повторяю, я ваш раб, а рабов не стыдятся, и раб оскорбить не может.

- Все это вздор! И терпеть я не могу этой вашей «рабской» теории.

- Заметьте себе, что я не потому говорю про мое рабство, чтоб желал быть вашим рабом, а просто - говорю, как о факте, совсем не от меня зависящем.

- Говорите прямо: зачем вам деньги?

- А вам зачем это знать?

- Как хотите, - ответила она и гордо повела головой.

- Рабской теории не терпите, а рабства требуете: «отвечать и не рассуждать!» Хорошо, пусть так. Зачем деньги, вы спрашиваете? Как зачем? деньги - все!

- Понимаю, но не впадать же в такое сумасшествие, их желая! Вы ведь тоже доходите до исступления, до фатализма. Тут есть что-нибудь, какая-то особая цель. Говорите без извилин, я так хочу.

Она как будто начинала сердиться, и мне ужасно понравилось, что она так с сердцем допрашивала.

- Разумеется, есть цель, - сказал я, - но я не сумею объяснить - какая. Больше ничего, что с деньгами я стану и для вас другим человеком, а не рабом.

- Как? как вы этого достигнете?

- Как достигну? как, вы даже не понимаете, как могу я достигнуть, чтоб вы взглянули на меня иначе, как на раба! Ну вот этого-то я и не хочу, таких удивлений и недоумений.

- Вы говорили, что вам это рабство наслаждение. Я так и сама думала.

- Вы так думали, - вскричал я с каким-то странным наслаждением. - Ах, как эдакая наивность от вас хороша! Ну да, да, мне от вас рабство - наслаждение. Есть, есть наслаждение в последней степени приниженности и ничтожества! - продолжал я бредить. - Черт знает, может быть, оно есть и в кнуте, когда кнут ложится на спину и рвет в клочки мясо... Но я хочу, может быть, попытать и

других наслаждений. Мне давеча генерал при вас за столом наставление читал за семьсот рублей в год, которых я, может быть, еще и не получу от него. Меня маркиз Де-Грие, поднявши брови, рассматривает и в то же время не замечает. А я, с своей стороны, может быть, желаю страстно взять маркиза Де-Грие при вас за нос?

– Речи молокососа. При всяком положении можно поставить себя с достоинством. Если тут борьба, то она еще возвысит, а не унизит.

– Прямо из прописи! Вы только предположите, что я, может быть, не умею поставить себя с достоинством. То есть я, пожалуй, и достойный человек, а поставить себя с достоинством не умею. Вы понимаете, что так может быть? Да все русские таковы, и знаете почему: потому что русские слишком богато и многосторонне одарены, чтоб скоро приискать себе приличную форму. Тут дело в форме. Большею частью мы, русские, так богато одарены, что для приличной формы нам нужна гениальность. Ну, а гениальности-то всего чаще и не бывает, потому что она и вообще редко бывает. Это только у французов и, пожалуй, у некоторых других европейцев так хорошо определилась форма, что можно глядеть с чрезвычайным достоинством и быть самым недостойным человеком. Оттого так много форма у них и значит. Француз перенесет оскорбление, настоящее, сердечное оскорбление, и не поморщится, но щелчка в нос ни за что не перенесет, потому что это есть нарушение принятой и увековеченной формы приличий. Оттого-то так и падки наши барышни до французов, что форма у них хороша. По-моему, впрочем, никакой формы и нет, а один только петух *le coq gaulois*. [10 - Галльский петух (фр.).] Впрочем, этого я понимать не могу, я не женщина. Может быть, петухи и хороши. Да и вообще я заврался, а вы меня не останавливаете. Останавливайте меня чаще; когда я с вами говорю, мне хочется высказать все, все, все. Я теряю всякую форму. Я даже согласен, что я не только формы, но и достоинств никаких не имею. Объявляю вам об этом. Даже не забочусь ни о каких достоинствах. Теперь все во мне остановилось. Вы сами знаете отчего. У меня ни одной человеческой мысли нет в голове. Я давно уж не знаю, что на свете делается ни в России, ни здесь. Я вот Дрезден проехал и не помню, какой такой Дрезден. Вы сами знаете, что меня поглотило. Так как я не имею никакой надежды и в глазах ваших нуль, то и говорю прямо: я только вас везде вижу, а остальное мне все равно. За что и как я вас люблю – не знаю. Знаете ли что, может быть, вы вовсе не хороши? Представьте себе, я даже не знаю, хороши ли вы, или нет, даже лицом? Сердце, наверное, у вас нехорошее; ум неблагородный; это очень может быть.

– Может быть, вы потому и рассчитываете закупить меня деньгами, – сказала она, – что не верите в мое благородство?

– Когда я рассчитывал купить вас деньгами? – вскричал я.

– Вы зарпортовались и потеряли вашу нитку. Если не меня купить, то мое уважение вы думаете купить деньгами.

– Ну нет, это не совсем так. Я вам сказал, что мне трудно объясняться. Вы подавляете меня. Не сердитесь на мою болтовню. Вы понимаете, почему на меня нельзя сердиться: я просто сумасшедший. А, впрочем, мне все равно, хоть и сердитесь. Мне у себя наверху, в камерке, стоит вспомнить и вообразить только шум вашего платья, и я руки себе искусать готов. И за что вы на меня сердитесь? За то, что я называю себя рабом? Пользуйтесь, пользуйтесь моим рабством, пользуйтесь! Знаете ли вы, что я когда-нибудь вас убью? Не потому убью, что разлюблю или приревную, а – так, просто убью, потому что меня иногда тянет вас съесть. Вы смеетесь...

– Совсем не смеюсь, – сказала она с гневом. – Я приказываю вам молчать.

Она остановилась, едва переводя дух от гнева. Ей-богу, я не знаю, хороша ли она была собой, но я всегда любил смотреть, когда она так предо мною останавливалась, а потому и любил часто вызывать ее гнев. Может быть, она заметила это и нарочно сердилась. Я ей это высказал.

– Какая грязь! – воскликнула она с отвращением.

– Мне все равно, – продолжал я. – Знаете ли еще, что нам вдвоем ходить опасно: меня много раз непреодолимо тянуло прибить вас, изуродовать, задушить. И что вы думаете, до этого не дойдет? Вы доведете меня до горячки. Уж не скандала ли я побоюсь? Гнева вашего? Да что мне ваш гнев? Я люблю без надежды и знаю, что после этого в тысячу раз больше буду любить вас. Если я вас когда-нибудь убью, то надо ведь и себя убить будет; ну так – я себя как можно дольше буду не убивать, чтоб эту нестерпимую боль без вас ощутить. Знаете ли вы невероятную вещь: я вас с каждым днем люблю больше, а ведь это почти невозможно. И после этого мне не быть фаталистом? Помните, третьего дня, на Шлангенберге, я прошептал вам, вызванный вами: скажите слово, и я соскочу в эту бездну. Если б вы сказали это слово, я бы тогда соскочил. Неужели вы не

верите, что я бы соскочил?

– Какая глупая болтовня! – вскричала она.

– Мне никакого дела нет до того, глупа ли она, иль умна, – вскричал я. – Я знаю, что при вас мне надо говорить, говорить, говорить, – и я говорю. Я все самолюбие при вас теряю, и мне все равно.

– К чему мне заставлять вас прыгать с Шлангенберга! – сказала она сухо и как-то особенно обид-но. – Это совершенно для меня бесполезно.

– Великолепно! – вскричал я, – вы нарочно сказали это великолепное «бесполезно», чтоб меня придавить. Я вас насквозь вижу. Бесполезно, говорите вы? Но ведь удовольствие всегда полезно, а дикая, беспредельная власть – хоть над мухой – ведь это тоже своего рода наслаждение. Человек деспот от природы и любит быть мучителем. Вы ужасно любите.

Помню, она рассматривала меня с каким-то особенно пристальным вниманием. Должно быть, лицо мое выражало тогда все мои бестолковые и нелепые ощущения. Я припоминаю теперь, что и действительно у нас почти слово в слово так шел тогда разговор, как я здесь описал. Глаза мои налились кровью. На окраинах губ запекалась пена. А что касается Шлангенберга, то, клянусь честью, даже и теперь: если б она тогда приказала мне броситься вниз, я бы бросился! Если б для шутки одной сказала, если б с презрением, с плевком на меня сказала, – я бы и тогда соскочил!

– Нет, почему ж, я вам верю, – произнесла она, но так, как она только умеет иногда выговорить, с таким презрением и ехидством, с таким высокомерием, что, ей-богу, я мог убить ее в эту минуту. Она рисковала. Про это я тоже не солгал, говоря ей.

– Вы не трус? – спросила она меня вдруг.

– Не знаю, может быть, и трус. Не знаю... я об этом давно не думал.

– Если б я сказала вам: убейте этого человека, вы бы убили его?

– Кого?

– Кого я захочу.

– Француза?

– Не спрашивайте, а отвечайте, – кого я укажу. Я хочу знать, серьезно ли вы сейчас говорили? – Она так серьезно и нетерпеливо ждала ответа, что мне как-то странно стало.

– Да скажете ли вы мне, наконец, что такое здесь происходит! – вскричал я. – Что вы, боитесь, что ли, меня? Я сам вижу все здешние беспорядки. Вы падчерица разорившегося и сумасшедшего человека, зараженного страстью к этому диаволу – Blanche; потом, тут – этот француз, с своим таинственным влиянием на вас и, – вот теперь вы мне так серьезно задаете... такой вопрос. По крайней мере чтоб я знал; иначе я здесь помешаюсь и что-нибудь сделаю. Или вы стыдитесь удостоить меня откровенности? Да разве вам можно стыдиться меня?

– Я с вами вовсе не о том говорю. Я вас спросила и жду ответа.

– Разумеется, убью, – вскричал я, – кого вы мне только прикажете, но разве вы можете... разве вы это прикажете?

– А что вы думаете, вас пожалею? прикажу, а сама в стороне останусь. Перенесете вы это? Да нет, где вам! Вы, пожалуй, и убьете по приказу, а потом и меня придете убить за то, что я смела вас посылать.

Мне как бы что-то в голову ударило при этих словах. Конечно, я и тогда считал ее вопрос наполовину за шутку, за вызов; но все-таки она слишком серьезно проговорила. Я все-таки был поражен, что она так высказалась, что она удерживает такое право надо мной, что она соглашается на такую власть надо мною и так прямо говорит: «иди на погибель, а я в стороне останусь». В этих словах было что-то такое циническое и откровенное, что, по-моему, было уж слишком много. Так, стало быть, как же смотрит она на меня после этого? Это уж перешло за черту рабства и ничтожества. После такого взгляда человека возносят до себя. И как ни нелеп, как ни невероятен был весь наш разговор, но сердце у меня дрогнуло.

Вдруг она захохотала. Мы сидели тогда на скамье пред игравшими детьми, против самого того места, где останавливались экипажи и высаживали публику, в аллею, пред воксалом.

– Видите вы эту толстую баронессу? – вскричала она. – Это баронесса Вурмергельм. Она только три дня как приехала. Видите ее мужа: длинный, сухой прусак, с палкой в руке. Помните, как он третьего дня нас оглядывал? ступайте сейчас, подойдите к баронессе, снимите шляпу и скажите ей что-нибудь по-французски.

– Зачем?

– Вы клялись, что соскочили бы с Шлангенберга; вы клянетесь, что готовы убить, если я прикажу. Вместо всех этих убийств и трагедий я хочу только посмеяться. Ступайте без оговорок. Я хочу посмотреть, как барон вас прибьет палкой.

– Вы вызываете меня; вы думаете, что я не сделаю?

– Да, вызываю, ступайте, я так хочу!

– Извольте, иду, хоть это и дикая фантазия. Только вот что: чтобы не было неприятности генералу, а от него вам? Ей-богу, я не о себе хлопочу, а об вас, ну – и об генерале. И что за фантазия идти оскорблять женщину?

– Нет, вы только болтун, как я вижу, – сказала она презрительно. – У вас только глаза кровью налились давеча, впрочем, может быть, оттого, что вы вина много выпили за обедом. Да разве я не понимаю сама, что это и глупо и пошло и что генерал рассердится? Я просто смеяться хочу. Ну, хочу, да и только! И зачем вам оскорблять женщину? Скорее вас прибьют палкой.

Я повернулся и молча пошел исполнять ее поручение. Конечно, это было глупо, и, конечно, я не сумел вывернуться, но когда я стал подходить к баронессе, помню, меня самого как будто что-то подзадорило, именно школьничество подзадорило. Да и раздражен я был ужасно, точно пьян.

Глава VI

Вот уже два дня прошло после того глупого дня. И сколько крику, шуму, толку, стуку! И какая все это беспорядица, неурядица, глупость и пошлость, и я всему причину. А впрочем, иногда бывает смешно, – мне по крайней мере. Я не умею себе дать отчета, что со мною сделалось, в исступленном ли я состоянии нахожусь, в самом деле, или просто с дороги соскочил и безобразничаю, пока не свяжут. Порой мне кажется, что у меня ум мешается. А порой кажется, что я еще недалеко от детства, от школьной скамейки и просто грубо школьничаю.

Это Полина, это все Полина! Может быть, не было бы и школьничества, если бы не она. Кто знает, может быть, я это все с отчаяния (как ни глупо, впрочем, так рассуждать). И не понимаю, не понимаю, что в ней хорошего! Хороша-то она, впрочем, хороша; кажется, хороша. Ведь она и других с ума сводит. Высокая и стройная. Очень тонкая только. Мне кажется, ее можно всю в узел завязать или перегнуть надвое. Следок ноги у ней узенький и длинный – мучительный. Именно мучительный. Волосы с рыжим оттенком. Глаза – настоящие кошачьи, но как она гордо и высокомерно умеет ими смотреть. Месяца четыре тому назад, когда я только что поступил, она, раз вечером, в зале с Де-Грие долго и горячо разговаривала. И так на него смотрела... что потом я, когда к себе пришел ложиться спать, вообразил, что она дала ему пощечину, – только что дала, стоит пред ним и на него смотрит... Вот с этого-то вечера я ее и полюбил.

Впрочем, к делу.

Я спустился по дорожке в аллею, стал посредине аллеи и выжидал баронессу и барона. В пяти шагах расстояния я снял шляпу и поклонился.

Помню, баронесса была в шелковом необъятной окружности платье, светло-серого цвета, с оборками, в кринолине и с хвостом. Она мала собой и толстоты необычайной, с ужасно толстым и отвислым подбородком, так что совсем не видно шеи. Лицо багровое. Глаза маленькие, злые и наглые. Идет – точно всех честью достаивает. Барон сух, высок. Лицо, по немецкому обыкновению, кривое и в тысяче мелких морщинок; в очках; сорока пяти лет. Ноги у него начинаются чуть ли не с самой груди; это, значит, порода. Горд, как павлин. Мешковат немного. Что-то баранье в выражении лица, по-своему заменяющее глубокомыслие.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Господин граф (фр.).

2

Госпожа графиня (фр.).

3

Граф и графиня (фр.).

4

Табльдот, общий стол в ресторане (фр.).

5

Это было не глупо (фр.).

6

Замок (фр.).

7

Дурным тоном (фр.).

8

Тридцать и сорок (фр.)– одна из форм азартной игры.

9

Отец (нем. Vater).

10

Галльский петух (фр.).

Купити: <https://telnovel.me/fedor-dostoevskiy/igrok>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)